

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
К56

*Составитель серии Андрей Геласимов
Художник Алена Геласимова*

К56 Ковчег-Питер. Сборник повестей. — М.: ИД «Городец»,
2020. — 576 с. (Серия «Ковчег».)

В сборник вошли произведения питерских авторов. В их прозе отчетливо чувствуется Санкт-Петербург. Набережные, заключенные в камень, холодные ветры, редкие солнечные дни, но такие, что, оказавшись однажды в Петергофе в погожий день, уже никогда не забудешь. Именно этот уникальный Питер проступает сквозь текст, даже когда речь идет о Литве, в случае с повестью Вадима Шамшурина «Переотражение». С нее и начинается «Ковчег Питер», герои произведения которого учатся, взрослеют, пытаются понять и принять себя и окружающий их мир. И если принятие себя – это только начало, то Пальчиков, герой одноименного произведения Анатолия Бузулукского, уже давно изучив себя вдоль и поперек, пробует принять мир таким, какой он есть.

ISBN 978-5-907085-71-8

© В. Шамшурин, А. Смерчек,
С. Прудников, А. Ключков,
А. Бузулукский, 2020
© ИД «Городец», 2020

ВАДИМ ШАМШУРИН

ПЕРЕОТРАЖЕНИЕ

Повесть в рассказах

ЧАСТЬ I

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

I

Меня разбудил резкий стеклянный звук. Кто-то кидал камушки. Второй этаж. Сторона солнечная. Жмурясь от яркого солнца, я выглянул в окно. Внизу стоял Андрюха.

Я прошлепал до двери своей комнаты, отдернул щеколду, выглянул в коридор. Все вроде было спокойно. Бабуль не спала, это однозначно, но и на кухне ее не было. Быть может, пребывая в похмельных снах, я не услышал, как она ушла. К примеру, на базар. Я заглянул в ее комнату. Ее не было и там. Так и есть.

Андрюха прошагал в мою комнату, не разуваясь. Меня всегда приводила в ужас эта его привычка. У него в доме не принято снимать уличную обувь, порой даже когда ложишься спать. Впрочем, почему бы нет. Если людям так удобно.

Андрюха бухнулся в кресло. Мартовское солнце уперлось ему в затылок. Он молча смотрел, как я собираю диван и записываю постельное белье. Потом подбираю повсюду вещи, которые вчера раскидал в пьяном угаре.

Помню, стараясь не шуметь, пробрался в свою комнату мимо дозоров бабушки, которая не спала, несмотря на поздний час, и, если бы не ее любимый сериал, она бы не прозевала меня и устроила мне полуторачасовую проповедь. Но я задвинул засов — и опаньки! — бурчи под дверью не бурчи, я в домике!

— Ох и крепко я вчера напился! — блаженно закатил я глаза. Андрей дернул плечами, но ничего не сказал.

Я, впрочем, продолжать и не стал, меня больше беспокоило, где мой второй носок.

— Чай будешь? — спросил Андрея, обнаружив носок у себя на ноге.

Он скривился. Скрестил руки и сидел так довольно долго, потом наконец произнес:

— Буду.

Мы с Андрюхой друзья с детского сада, к тому же живем в одном дворе. Андрюха немного того, двинутый. Хотя и не пристало такое говорить о собственном друге, но что есть, то есть. У него мать и отец — алкоголики. Вот и причина.

Когда я прихожу к Андрюхе в гости, он редко приглашает меня войти, обычно треплемся на лестнице. Трепаться у него на лестнице — в этом есть своя романтика, раньше целой дворовой компанией собирались, допоздна ржали и плевали на стены. Одно из развлечений — измазать один конец спички в мокром от слюны мелу и поджечь, затем швырнуть к потолку, почти всегда спичка цепляется мокрым мелом за потолочную пыль и догорает на потолке, оставляя после себя черный каплевидный след. Весь потолок на лестничной площадке в таких узорах.

Андрюха тихий, не прекословит, его родителям по фигу, соседям страшно, а нам весело. Хотя насчет соседей это я зря. Тут наблюдается определенная неоднородность, некоторые и правда настолько робки, что и носу не кажут, но другие — только успевай улепетывать. К примеру, неврастеничка из тринадцатой — то

нас водой из таза окатит, то полицию вызовет, то с двустволкой вылетит в ночнушке и тапках. В общем, бывало ржачно.

Андрюха ест уже третий бутерброд — это я не к тому, что считаю, сколько он у меня ест, а к тому, что он постоянно голоден. Я обычно утром вообще ничего не ем: люблю чай сладкий с лимоном, и сегодня сию прихлебываю, а он за меня лопает. В этом есть свои плюсы: бабуль решит, что порубал все я — ей радость, а мне — спокойствие. Она за меня постоянно переживает страшно. По сути, она мне за мать. Мама умерла, когда я был еще совсем маленьким. Но я ее помню, помню, как она водила меня в детский сад. Это было осенью, под ногами расползались гнилые листья. Я вертел пальцами кольца на маминых пальцах. Было темно, холодно и тоскливо.

Отец же постоянно в морях и океанах, и получается, что бабуль мне и за отца. Что не всегда здорово.

Андрюха дожеввал третий бутер, потянулся к четвертому, но тут же отдернул руку. Я как бы невзначай пододвинул ему тарелку.

— Так ты пойдешь сегодня в школу?

— Нет.

— А я иду. Контрольная по математике.

— Угу.

В этом весь он. Лишнего слова из него не вытянешь. Порой он похож на испуганного дикого зверька.

Я уже проспал первый урок. Вчера хоть и напился, но голова не болела, впрочем, как обычно. Бухали мы у Эдвина на кухне. Вершиной нашего опьянения был тот момент, когда мы забрались на стол и решили выпить за милых дам. Милые дамы, впрочем, тоже уже были невменяемы. Шарили под столом руками, расстегивали ширинки. И вот стоим мы на столе, ширинки расстегнуты, и в этот самый момент возвращаются домой родители.

Я в пять минут собрал рюкзак, накидав туда ручек и тетрадей. Андрюха тем временем завладел какой-то книжицей из книжного шкафа, в котором в тщательно подобранной цветовой гамме стояли полные собрания не читанных никем произведений. Луч солнца сверкнул на золотом тиснении. Разумеется, это был Достоевский. На вопросительный взгляд я равнодушно кивнул:

— Конечно, бери.

Мы вышли из подъезда. Ударило солнце. Пожали друг другу руки и разошлись. Я в школу. Андрюха незнамо куда, но наверняка уж не домой, а ходить-слоняться по старому городу.

Он идет, опустив голову, погрузившись в себя, в руке черная книга.

Солнце распирает небо.

Путь в школу имеет две здравые траектории. Если использовать в качестве сравнения шахматные фигуры, то одна траектория — ход конем: шагаешь по Манто, доходишь до перекрестка с Дауканто, поворачиваешь направо, и уже видно красное типовое строение школы. Вторая средняя имени М. Кое-кого (Горького). Другая траектория — ход ферзем: по дворам наискосок, мимо немецких домиков, двух-трехэтажных, из труб которых испаряются локально отопительные дрова. По дворам гуляют курицы. В детстве именно здесь меня ловили хулиганы и не раз отбирали кровный рубль. Фильм про ниндзя в видеосалоне теперь посмотрит кто-то другой.

Второй путь более короткий — выигрываешь минуты три, но обычно все равно опаздываешь, так как выходишь из дома экстремально поздно, может спасти только чудо, но чудеса случаются крайне редко: в этом их главное качество.

Но можно обойтись и без чудес — завернуть по обыкновению в курилку.

Курилка — за зданием детской библиотеки.

Спокойно стоят, курят выпускники — последняя школьная весна. Мы дядьки — никого круче на всем белом свете — мы щуримся весеннему солнцу, жизнь наполнена и прекрасна. В сторонке стоят испуганные и наглые семиклассники — от асфальта метр с бумбончиком, а уже в поисках крутости: экономят на завтраках, покупают первую пачку Red&White, а потом бледнеют, кашляют и от третьей затяжки блюют.

Я пробегаю мимо. Я и так опаздываю. Покурю на большой перемене вместо школьных котлет с отвратными макаронами. Двери школы на перемены закрывают. Поэтому часто курим в туалете в малышовском крыле. Учительницы начальных классов почти что наши ровесницы. Стоят с нами, судорожно затягиваются — только так и можно успокоить нервы от этих маленьких засранцев: «Коля из второго “А” меня опять послал!»

Я спешу на историю. В классе появилась новенькая. Она будоражит мое воображение. Ночами я не могу заснуть — думаю о ней.

Так исторически сложилось, что я был влюблен почти в каждую девчонку нашего класса.

Я был влюблен в Аню, сидел с ней за одной партой во втором классе и, пока ей не прописали очки, терпел от нее постоянные: «Что-что там написано? А там? А третий пример?» Мне это нравилось, но я ворчал, чтоб не быть уличенным в дружбе с девчонками.

Я был влюблен в Машу: ходил к ней домой вышивать слоников крестиком.

Я был влюблен в Олю: сидел с ней на английском и все у нее списывал.

С Мариной мы гуляли по коридорам школы, взявшись за руки.

Карина — Ирина — Катерина — ... кому-то я носил портфели, кого-то целовал в парадной, у кого-то учился расстегивать лифчики, у кого-то — снимать трусики зубами.

Моим влюбленностям несть числа. Но постоянство утомляет. Так порой хочется изменить. Как только я увидел новенькую, я понял, что нельзя упустить эту возможность.

Каштанка. Волосы до плеч, чуть вьются. Глаза зеленые. Хлоп-хлоп ресницами. Скромница. Красотка. Впрочем, пора начинать мою историю.

Ее зовут Дануте, она приехала из Вильнюса.

2

В Клайпеде полно каштанов. Их листья взрывают огромные липкие почки, появляются бледно-зеленые кулачки, темно-коричневая шелуха летит вниз, падает на прошлогодний опад. Написал про Дануте «каштанка», и вспомнилось, как мы с Витюхой, набрав каштанов, сидели на остановке, рядом с кинотеатром «Жемайтия», и бросали их на проезжую часть. Давали им имена ненавистных одноклассников и учителей. Был Барвен — директор школы. Был Куликов — толстый и весь какой-то засаленный, грязноволосый, потеющий. Был Давыдов с его бабушкой. Мы взрывали его пеналы новогодними бомбочками и воровали бутерброды из портфеля, а его бабушка таскала нас за уши. Каштаны прыгали по дороге, скорее-скорее, лишь бы успеть на другую сторону. Но везет крайне редко, и вот, застыв от ужаса, смотришь, как мчится на тебя автомобильное колесо, сдавленно вскрикиваешь, а потом понять не можешь, почему это ты такой плоский. А мы с Витюхой ржем и даем новые имена.

Такие вот воспоминания вызывала у меня Дануте.

— Да ну тебя, Дануте!

— Да ну тебя, мой милый Дим!

Точно.

В советские времена было модно отдавать детей в русские школы. Но не только по причине интеграции, ассимиляции или еще какой -ции, часто мама или папа были просто русскими по национальности или, наоборот — литовцами, и поэтому существовало всего два возможных варианта: отдать ребенка в русскую школу или в литовскую. Вот, к примеру, Витюху отдали сначала в литовский детский сад, потом в русскую школу. Не думаю, что от этого он что-то там выиграл или потерял. Хотя, может быть, сейчас было бы лучше, если бы он учился в литовской школе. Но нет, это все ерунда, теорема недоказуема. На самом деле не знаю, почему я заговорил о Витюхе, а не о Дане. У нее, в общем, похожий случай, поэтому она со мной сейчас и рядышком. Это я к вопросу об ее литовском имени. Но она не совсем литовка. Мама у нее русская. И так как воспитывает ее только мать, то вопрос о национальности снимается. Для меня он вообще не злободневен. Мне, да и многим, все равно, на каком языке ты разговариваешь. Все дело в понимании.

Ерунда это все. Только старики и политики по этому вопросу и загоняются. Уж если говорить о национализме, в основном эта штука обсасывается только ими. А как по мне, если не нравится тебе человек — русский, литовец или еще там кто, — бей в лицо или плюй в глаз.

Тем более что разница стирается. Русские школы превращают в литовские. Так школа Максима Горького превращается в Gorkio tokykla. И Иван Иванов превращается в Йонаса Ивановаса. Зачастую болезненно.

Помню, как веселили нас костры и танки на улицах. Но что-то меня все тянет на воспоминания, словно какого пенсионера, а до пенсии мне еще расти и расти. Мне шестнадцать, весна на улице, 1997 год. Сажу на уроке литовского, ловлю и прячу Данутины взгляды. Пытаюсь ее рисовать — это получается несравненно хуже, чем мертвецы и монстры. По пятницам кружок рисования у Эмиля Игоревича. Сам он любитель рисовать

натюрморты, немецкие домики — те самые, с дымными трубами. Но он не противится моему пристрастию к изображению кровавых сцен — плати только денежку. Но я, наверное, к нему не совсем справедлив, быть может, он считает, что из меня что-нибудь да получится. Его кружок кроме меня посещают перво-классники и дети завучихи.

В кабинете литовского столы расставлены не в три ряда, а буквой «П», поэтому наблюдать за Даной и оставаться незамеченным сложно и не нужно. Мы до сих пор и словом не обмолвились. А свой интерес к ней стоит проявлять более явно.

Дана сосредоточенно склоняет множественные числа страдательного залога. Солнечный луч падает на ее руку, делая ее по-зимнему еще более бледной, видны голубые венки. Рисовать руки — самое сложное. И хотя по всем правилам нужно сначала набросать фигуру полностью, затем начать уточнять детали, но никогда я не придерживаюсь этого правила: всегда сначала рисую глаза, остальное — потом. При этом остальное с ними вяжется крайне редко: комкаю, запикиваю между партами. Пробую рисовать ее грудь. Опять же — очень похоже на глаза.

— Dima, ką jus darote? — Дима, что вы делаете?

— Nieko, Irena Jonovna. — Ничего, Ирена Йоновна.

— Kodėl gi nerašote? — Почему не пишете?

— Rašau. — Пишу.

Говорить по-литовски мне тяжело. Все время теряюсь, и язык не слушается. Краснею, заикаюсь, подмышки льют ручейки пота. Да впрочем не только по-литовски, но и по-английски, и в большинстве случаев по-русски. По-грузински проще. Знаю пару слов и одно ругательство: «Гамарджоба, генецвали, мадлопт, захрума — захрузма!»

Моя бабуль родом из Тбилиси. Говорит по-русски с легким акцентом. Одно время она пыталась научить меня грузинскому, но оставила все попытки, когда три дня подряд я ходил за ней

и, копируя манеру кавказцев импульсивно жестикулировать, говорил:

— Вах, бабюшка, умэю гаварит я по-хрузинскы, как ти понят нэ можишь, вай ме!

Приезжали родственники из Грузии, привозили злого сиамского кота и моего троюродного дядю, который пропадал ночами по значным местам Клайпеды и постоянно лечился от всяких венерических болезней. Приезжали тетя Вера и дедушка Рема — бабушкин старший брат, от чего мой «грузинский» становился только лучше. Они приезжали каждое лето до тех пор, пока не закрыли границы. Я боялся сиамского кота и мучил своего троюродного дядю, заставляя его по утрам, как только откроет похмельные глаза, рисовать или срисовывать с фотографий афиш заграничных фильмов разные черепа и ужасы. Когда в Грузии началась война, он ушел добровольцем, и его контузило разорвавшимся рядом снарядом, первое время он совсем не мог разговаривать, а сейчас говорит, но страшно за-за-заикается.

Теперь только и возможно, что звонить им изредка. Дорого.

Впрочем, во мне от грузинских кровей совсем чуть. Если моему отцу от всяких уродов еще достается по причине темной кожи (черножопости), то я давно что-то не получал.

К примеру, идет мой отец пьяный, во внутреннем кармане бутылка водки, обязательно поймают и отметелят. Клайпеда город темный, к тому же портовый, и как следствие — бандитский. Полно наркоманов, пьяниц и насмотревшихся фильмов про крутящих ногами супергероев и мечтающих быть на них похожими. Город полон мечтателей.

Взять, к примеру, Андрюхину семью. Мечтатели. Отец и мать бухают, мечтая о том, чтобы времена былого благоденствия вернулись. А сам Андрюха мечтает превратить весь мир в иллюзию, где можно было бы взять однажды и перевернуть страницу или начать читать заново, перечеркивая или переписывая непонравившиеся места. Чем такие мечты кончатся?

А я мечтаю целовать Дану в живот и во всякие другие места. И если меня сейчас вызовут к доске, то я не смогу подняться из-за парты вследствие того, что джинсы уж слишком обтягивающие.

Звонит звонок, собираешь рюкзак и странной походкой вслед за Даной покидаешь класс. Джинсы вскоре уже не так жмут, но волнение не проходит, а только усиливается. Я словно болен. Мир лихорадит и плавится. Куришь в туалете, но лучше не становится. Тошнит, словно семиклассника, но, может, это запоздавшее похмелье. Вряд ли, скорее — прелесть полового созревания и внезапно нахлынувшая на город весна. Кривишься. Решаешь на следующий день надеть джинсы попросторнее.

После школы плетешься за ней, как бездомная голодная псина. Не следишь и не преследуешь, просто хочется, ой как хочется, сократить это расстояние и быть близко-близко. Идешь и вспоминаешь, как мог бы потерять девственность. Пьяно, грязно. Прошлым летом на даче у Эдвина в теплой ночи на мокрой от росы траве, сползая по склону в реку с пьяной Катей, необъятно толстой и хрипло смеющейся твоему судорожному дыханию и незнанию, куда что вставляется, спящей по пьяни с кем ни попадя: после меня еще человека три на очереди, в волнении разгораются угольки сигарет, курят «Приму».

Но, быть может, всего этого не было. Надеешься, что это все только приснилось, сны в последнее время совершенно неотличимы от реальности, и постоянно путаешь одно с другим. И правда, какая разница. Перед Даной стыдно, поэтому не приближаешься. Недостоин, слаб, грязен — себя мучаешь, чуть не плачешь от отчаяния, готов повеситься. Вешаешься. Висишь под ее окном, при ее взгляде во двор приветливо машешь рукой. Теплый ветер тебя слегка покачивает. Знаешь, что скоро начнешь пованивать и от мух уже нельзя будет спрятаться. Поэтому становится жалко себя. Не сразу замечаешь, что уже

вплотную подошел к Дане, она остановилась и смотрит своими большими зелеными глазами.

Я делаю вид, что даже не узнал ее, что просто иду по своим делам. Вхожу в совершенно незнакомый подъезд. Сижу минут десять в темном, сыром и кислом от мочи подъезде. Словно мартовский кот, метящий территорию, не в силах терпеть, ссу кому-то на коврик. Становится легче.

3

Сегодня опять солнечно. Просыпаться легче. Несмотря на ранний час, во дворе уже не так холодно. Надеваю легкую курточку.

Вообще-то в Клайпеде очень гнилой климат. Имею в виду, кроме чрезмерной изменчивости погоды, еще и постоянное присутствие туманов и дождей.

С литовского название города переводится «след Клая». Согласно легенде, давным-давно жили на земле два брата, одного из которых звали Клай. Однажды Клай ушел на охоту и не вернулся, и тогда его брат отправился искать брата, долго шел он по его следам и зашел в болото. Долго шел он по болоту, пока не нашел последний, очень отчетливый след своего брата, после которого не было ничего, только топь, и понял брат, что нет больше брата, и заплакал. Наполнился след Клая слезами брата, и, уважая его горе, земля сохранила этот след на долгие столетия в предупреждение забредшему в болото путнику. На этом месте и возник впоследствии город Клайпеда.

Вчера весь вечер маялся. На улице было слякотно. Идти никуда не хотелось. Читать — нет. Рисовать своих монстров — нет. Лежать на диване — нет. Смотрел «Санта-Барбару» вместе с бабуль,

переводил ей с литовского, удивлялся себе — все понимаю, но сказать ничего не могу. Как собака.

Бывает, все надоедает, чувствуешь полное отвращение к жизни, понимаешь отчетливо свою никчемность. Зачем ты нужен такой? Только знаешь, что все было бы по-другому, если бы хоть раз уже прикоснулся к женщине и ощутил под своими руками ее кожу, узнал, как это, чувствовать жар чужого голого тела. Думаешь вовсе не о Дане. Женщина — становится чем-то обезличенным, безымянным и чуть ли не бестелесным, ослепляющим своим свечением. Мужчины любят глазами, чем же любят юноши? Быть может, мечтами?

В моих мечтах женщина старше меня на лет десять. Она совершенно голая гуляет по квартире, бабуль ее не видит — поглощена сериалами — одним за другим со времен «Рабыни Изауры». Голая женщина бесстыдно виляет бедрами, и грудь ее колышется от плавных движений. Она совершенно бесшумна, беззвучен смех, блестят в электрическом свете ровные белые зубы, темнота вечера рисует ее отражение в оконном стекле. Окно запотеваает, стекло как будто изъедено холодными каплями.

Я беру ее за руку, запираюсь в своей комнате и... но и этого не хочется.

Хандра. Весенняя апатия. Не хватает витаминов. Дергаю зубами заусеницы, собираю ртом с пальца кровь. Ем.

Жаль, что у меня нет собаки. Звали бы ее, допустим, Мара. Пошел бы в парк при Доме офицеров. Ходил бы по битому кирпичу дорожек, закидывал голову, считал звезды. Их было бы видно, ой как отчетливо их было бы, ой как много. Стоп. Если бы не было так пасмурно. Быть может, встретил бы возвращающегося в общежитие пьяного Альгиса, был бы избит до потери сознания, валялся бы до тех пор, пока на меня не наткнулись Адомас, Нерька и Арнестас. Они подняли бы меня, отряхнули, поинтересовались, нет ли у меня денег. Я сказал бы: «Есть, в носке записка — вытаскивайте», вместе бы мы пошли в ларек и купили пива, а потом

сели на мокрую скамейку под дикой яблоней и разговаривали о жизни и мергинос (что значит — девушках), не мучая себя: «как это сказать по-литовски...», а без всяких словарей, понимая друг друга с полуслова. Что запросто.

Тогда получалось бы, что я и понимающая, и говорящая собака.

Жаль, что у меня нет собаки.

Вчера весь вечер я так промаялся. Не мог заснуть. На хрена все эти дневниковые записи.

Я сидел на уроке английского и плавился. Маленький кабинет в шесть парт был затоплен солнцем, за окном таяли последние грязные ледяные кочки, пуская воду по быстро просыхающему асфальту. Учителька Людмила Ивановна, коротенькая старушенция советской закалки, опять диктовала нам песню. Песня была про долгий путь к сердцу Мери. Мы уже изучили тучу песен и, по-видимому, должны в будущем при встрече с каким-нибудь иностранцем на его вопросы отвечать какой-нибудь песней.

— What time is it?

— It's long-long way to Tipperary, it's long way to go!

Примерно так.

Андрей по-прежнему в школу не ходит. Все из-за этой же Людмилы Ивановны. Однажды она попросила его задержаться после урока.

— Андрей, я узнала про твоих родителей. Это очень грустно. Бедный мой мальчик. Тебе живется несладко...

Андрей опустил голову и покраснел. Забилась нервно вена на его шее.

— Я обсудила создавшееся положение с моей подругой, а она со своей дочкой. Мы решили купить тебе одежду. Она здесь в пакете. Пиджак, брюки. Тебе должно подойти. Примерь, пожалуйста.

Он поднял глаза. В глазах была то ли боль, то ли ненависть. Не сказав ни слова, отпихнув пакет с одеждой, он вышел вон.

Я догнал его, взял под локоть, он дернулся и рванул по коридору, в ярости задевая плечами попадающих навстречу парней. Он почти бежал, не реагируя на их возмущенные оклики.

Я вижу на улицах города бомжей и пьяниц, их не становится ни больше, ни меньше, но лица их меняются. Порой мне все это странно до отвращения. От сладковатого запаха разложения их жизни хочется зажать нос. Проходишь мимо, бросаешь монетку, от этой вот своей милости становится не по себе. Наваливается усталость, идешь, на ходу засыпаешь, видишь, как проступает отчетливый сон:

...собака лижет пьяное лицо. Во вспухших веках и мутных глазах наблюдается движение. Вместе со спиртным запахом растекается улыбка. Пьяная женщина что-то бормочет, и если это слова, то они обращены к собаке и в них что-то от перебродившей нежности. Собака извивается, виляет в радости — бьется хвост. Прыгают в шерсти блохи. В комнате полумрак.

В городе вечер.

Зажигаются лампы на улицах. Пьяный мужчина нетвердо бредет в тени деревьев, пряча в кулаке какие-то деньги. В тридцать лет все было иначе: пить вино, щупать телок за толстые ляжки, теперь даже и не вспомнить — так дрожат пальцы и колотится сердце.

Он переходит улицу, ныряет в подворотню. Совсем темно, только пропечатаны светом окна четвертого этажа. Мигают звезды — россыпью. Скрипит и бьется ржавая пружина. Он поднимается выше: у бабы Риммы дешевый самогон.

На обратном пути его избивают молодчики, смеются и крутят ногами, как на шарнирах, вскрикивая по-модному «кий-я!» — по-китайски.

Его лицо-тело в ранах и ссадинах.

В комнате полумрак. Рядом что-то лепечет пьяная женщина. Тянет тонкие руки, ищет хабарики. Бегут-разбегаются по столу тараканы.

Над пьяной женщиной, пьяным мужчиной, тараканами — стоит бледный юноша. В отвращении морщится. Зовут его Павлик, Дед Мороз ему родственник. В отвращении смотрит, как целуются собака и пьяная женщина. Внутри ненависть.

Пьяный мужчина протягивает кулак, там — смятая купюра. Юноша кивает, разворачивает, разворачивается. Уходит.

И уже не возвращается.

Сидит в кофейне, тратит смятую, щиплет за жирные ляжки студенток. Жалует себя...

...просыпаешься. Облегченно вздыхаешь — сон — всего лишь сон.

Но на хрен такие сны!

Как мало сюжета в этих моих последних днях. Сны, мечты, пространные размышления. А не напиться ли мне сегодня?

— Айвар, что сегодня делаешь вечером?

— А что, где-нибудь кто пьет?

— Есть предложение.

Подходят Димка Носко, Саня Жеболаев — у каждого в ушах кнопки наушников: слушают жесткие басы Metallica. Наушники из ушей выпрыгивают:

— Ага, и мы не против! Куда идем?

В своем малиновом пиджаке подплывает Вадька Гусев:

— Весну нужно отпраздновать.

Тут же Эдвин:

— Не, ребята, не ко мне! У меня все двери досками заколочены, на коврик спит старушка с ружьем.

Выныривают из объятий Вовки Гусятина Вика и Шишка:

— Мальчишки, мы с вами!

Олег Луканов крутит ключами от новой машины, подаренной папой:

— Вы все не поместитесь, так можно было бы сгонять в Палангу.

— На хрен Палангу! Давайте на море!

— Холодно!

— Или в городской парк.

— Поехали!

Звонит звонок на последний урок. Все дружно проходят мимо кабинета музыки. Спускаемся в фойе первого этажа, выламываем входные двери, на мгновение ослепляет солнце, от свежего воздуха в головах уже хмельно. Прогуливаем всем классом. Дана должна быть где-то тут. И правда, поворачиваю голову, она как раз краешком глаза поймала мое движение и тоже смотрит на меня. Я не будь дураком улыбаюсь, но загораживает ее пингвин нашего класса — Ермолаев, существо из параллельного мира, — и мне не поймать ее ответную улыбку. А чертов Ермол плавно шагает себе и в свой пушистый ус не дует. Хлопает пушистыми ресницами, женственно и призрачно так улыбается.

Мы пошли в Iki, затоварились. Размеры алкогольного отдела впечатляли: в этом первом в городе супермаркете, казалось, можно заблудиться. Поговаривали, что и правда были случаи. Сэкономив по три цента с бутылки, мы тормознули автобус, запрыгали в руках ученические, исчезли в ладони кондукторши кругляшки монет. До городского парка три остановки — и там уж можно не бояться полиции, на манер западной следящей за моральным обликом молодого поколения. Хреново следящей. Но мы-то что, мы клей не нюхаем. Впрочем, Вадька и Эдвин пробовали. Судя по рассказам, в этом что-то есть. Быть может, это тот самый пункт в списке того, что следует в жизни испытать, требующий, по крайней мере, галочки.

Я пробираюсь к Дане. В моем брюхе плещется уже целая бутылка пива, в руке вторая, я весел, энергичен и самоуверен. Все бредут толпой по парковым дорожкам, солнце клонится к горизонту, спотыкаясь лучами о гипотенузы сосен (сумма квадратов катетов и так далее). Воздух тяжел и пахнет шишками. Густеет вместе с падающим солнцем холод.

Она говорит о чем-то с Наташкой Стефанович, которая чем-то похожа на Софию Ротару, впрочем, наверное, натянутой кожей лица и волосами, собранными в конский хвост.

— Привет, девчонки, — говорю я.

Наташка едва достаивает взглядом:

— Уже виделись...

Но мне на нее в данный момент наплевать.

— Дануте, как тебе наш класс?

— Хороший класс, дружный!

— Да, наш класс дружный! — ухмыляюсь.

Стефанович на меня косится, мол, что этому кобелю тут надо.

— Я Дима, — не отрываясь, наглый, смотрю прямо в глаза Дане.

— Я знаю, — отвечает она; мне кажется, на ее щеках легкий румянец.

И я, счастливый, убегаю.

Ко мне пробирается Батизад. Наглый, хулиганистого вида, весь в цепях и серьгах. Он уже порядком выпивший. Глаза его зло горят, на губах в самых уголках белая пена:

— Слышь, чмо! Оставь ее в покое...

— Чего? — я тоже пьяный и возбужденный. — Ты будешь мне указывать?!

— Я тебя, тварь, предупредил!

Победа, как видится, за мной. Свободный и счастливый готов выпить с каждым. Напиваюсь пьяным.

Нахожу себя наутро дома. В руке зажата бумажка с каким-то телефоном. Питая надежду, звоню:

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Дануте.

— Привет, Димка, — отвечают, — Какая на хрен я тебе Дануте, я Арина, мы познакомились в баре. Помнишь?

— Нет!

Вешаю трубку. Карманы пусты. Голова тоже.

4

Стучусь к Андрюхе. Звонок не работает. Барабаню ногой со всей силы, пробивая до дыр тупым массивным ботинком фанерную дверь. Заглядываю в дыру — темно, все без движения. Вдруг дверь дергается и открывается, вижу настороженный глаз.

— Тебе чего?

— Андрей дома?

— А, Андрей, — дверь раскрывается шире, появляется вспушенное, болезненно серое лицо. — Зайди.

Я протискиваюсь внутрь, по-прежнему темно, еще темнее, когда закрывается за мной дверь. Я знаю, ничего теперь не стоит огреть меня кочергой, выскрести из карманов деньги, снять куртку, ботинки, джинсы, для верности всадить мне в сердце нож, а потом, пропив мои деньги, продав мои вещи, срезать с моего тела мясо и стоять на углу у аптеки и предлагать его прохожим под видом только что освежеванной свиньи. Вот идет бабуль, она останавливается и покупает, варит из меня суп, ждет, когда я вернусь из школы. Я поем и, быть может, попрошу добавки.

Но ничего такого не случается, открывается еще одна дверь, я попадаю в прихожую, чуть не наступаю в собачье дерьмо, которое лежит прямо на пороге, собака тут же, прыгает и радуется, и для полной картины от радости мочится.

Тусклый свет добирается с кухни. А это болезненное существо, по всей видимости, женщина, сгорбившись, кутаясь в грязный халат, медленно выходит на свет. Меня поражают ее белые в содранных болячках руки, поражает ее худоба. Я, обалдевший, все так же стою без движения, только у ног извивается лохматая грязная собака. Я, честно, такого не ожидал.

— Извините, Андрей дома?

Но никто мне не отвечает.

В квартире гробовая тишина, я иду по коридору, вижу перед собой дверь, еще две двери по каждую руку. Мне кажется, что дверь в Андрюхину комнату слева, я приоткрываю ее. Вижу кровать, на ней в гряде грязного тряпья спит человек, прямо в одежде, только ширинка расстегнута и видно отсутствие нижнего белья, в воздухе стоит тяжелый запах перегара. Я распахиваю дверь шире, передо мной окно, перед ним еще одна кровать, и, хотя на ней такой же грудой лежит всякое тряпье — видны скомканные серые простыни, — на ней нет никого. Больше в комнате нет ничего, на стене виден след стоявшего здесь шкафа, в углу навалены платья и пальто, какие-то советские книги. Человек на кровати ворочается и открывает глаза, смотрит на меня невидящим взглядом, кожа лица отчетливо желтая.

— Андрей здесь? — спрашиваю.

Но лицо искривляется, глаза в мучении закрываются. Мне не отвечают. Я прикрываю дверь.

Я стучусь в дверь напротив, толкаю плечом, передо мною маленькая комнатка. В окне небо, деревья с кисточками первой листвы. Все остальное в комнате погружено в полумрак и покрыто ровным слоем пыли: стол, телевизор, сервант с застывшим в нем тусклым хрусталем и ровными корешками книг. Крашенные темной краской доски пола со следами босых ног, обрывающиеся посередине комнаты. Я смотрю вверх — люстры нет, только черный крюк. Но и здесь никого нет.

Иду на кухню. Там сидит маленькая измученная похмельем женщина, болезненно курит, сутулится, смотрит на меня в раздражении:

— Принес?

— Что принес?

— Не юродствуй, доставай скорее и наливай...

— Но у меня нет ничего.

— Тогда иди скорее и принеси, а то я сейчас сдохну!

— Мне только нужен Андрей.

— Андрей?.. Его нет... Его больше нет...

— В смысле?

— Ты принес? Наконец! Доставай скорее и налей мне, я очень прошу, не мучай меня, налей!

Боже, все это просто неправдоподобно, я пячусь к выходу, меня охватывает ужас, панический страх, я разворачиваюсь и чуть ли не бегом устремляюсь к выходу.

На лестнице встречаю его, Андрея.

— Ну слава богу! Ты живой!

— А почему я должен быть мертвым?

— Я только что был у тебя, твоя мать сказала, что тебя больше нет!

— Меня нет, я для них больше не существую, есть только это...

Он достает бутылку водки, ухмыляется.

— Ты что, ходишь им за водкой?

— Да.

Он отпихивает меня, поднимается по лестнице.

Я слышу тихое:

— Чем скорее они сдохнут, тем лучше...

Я иду, меня пробирает озноб. Ветер продувает навывлет мою легкую курточку, небо заволакивает облаками, начинается снег. Крупные пушистые снежинки. Мир становится сумрачным, холодным и пустым.

Мне становится страшно и одиноко. Нет меня во всем городе, город пуст, все умерли и похоронены, все собаки и кошки сдохли, а птицы попадали с неба мертвыми, и я точно знаю, что умру сейчас и я — в следующее мгновение, и этому никак не помешать, но больше пугает не смерть, а именно одиночество. С твоей смертью пустота не заполнится ни печалью, ни доброй памятью. Вот это ужасно.

— Привет, Димка! — из снежной пелены появляется Дана, мне тепло улыбается. Я теряюсь и застываю посреди тротуара, на меня налетает прохожий, бурчит: «Асилас».

Дана тоже в легкой курточке. Тепла улыбок не хватает, плечи ее подрагивают.

— Зима вернулась.

— Да, — отвечаю. Потом, спохватившись: — Слушай! Идем в кафе?

— Идем! А куда, я здесь ничего не знаю...

— Ну как же! Тут совсем рядом!

Тащу ее в кафе «Сваля», что на левой стороне Манто, при пересечении с Мажвидо-аллеей, веду мимо столиков, приставленных к стойке бара. Кафе похоже на вагон-ресторан — такое же вытянутое, и так же покачивает, когда разворачиваешь поезд на обратный путь домой. Но не пить мы сюда сегодня пришли. Нет-нет, не неси, официант, улыбаясь и подмигивая, пиво со специальным раскрепощающим порошком! Неси сегодня кофе! Два кофе! И не дергай ты так похабно своим правым глазом, пойми, это же Дана, моя милая Дана!

— Как тебе здесь?

— Классно, но уж больно накурено!

— Хочешь, уйдем!

— Нет-нет, давай просто попьем кофе.

Несут кофе, ставят нам на столик. Рассеянно киваю — весь в опасениях сморозить или сделать что-то не так.

— Дима, ты так вчера напился. Меня целовал.

— Правда?! — ужасаюсь.

— Шутка! — смеется. — Ты правда ничего не помнишь?

— Нет. Я вел себя ужасно?

— Предлагал нам пожениться.

— А ты?

— Я, конечно же, была согласна.

— А потом?..

— А потом ты с Айварами, с Большим и Маленьким, куда-то срулил.

Так вот почему так ухмыляется этот официант. Мы бухали именно тут. Именно тут я и подцепил какую-то кралю, помню, тискал ей сиськи и целовал взасос. А Айвары вдвоем напротив хлестали рюмку за рюмкой и меня провожали в дальний путь. Я вспомнил, что это было что-то вроде мальчишника.

Справка. У нас в классе есть два Айвара. Один очень высокий — играет в баскетбол и говорит по-русски с едва заметным стальным акцентом. Другой — коренастый, жмет у себя в подвале штангу и курит траву с Тимкой из соседней парадной. Носит широкие штаны и слушает Ice Cube. Большой Айвар предпочитает пиво и литовскую попсню. Что Большой, что Маленький — они мои дружбаны. Как уже стало понятно, частенько все вместе, и с Витюхой тоже, напиваемся вдрабадан! Витюха смешно чихает и чем-то похож на индейца из книжек Фенимора Купера. Книжки я не читал, но видел картинки — вылитый Витюха! Пьем частенько и у Витюхи на квартире, режемся на Sega — в «Мортал Комбат», смотрим порнуху и фильмы с Джимом Керри и веселыми ниггерами. Все это удивляет и радует. Маленький Айвар шарит в математике. Витюха много прогуливает из-за того, что много спит. Но только Большой Айвар и может вытащить меня из дома, когда у меня хандра. Конец справки. Продолжаем разговор...

Кто-то кидает камушки в окно. Наверное, Андрюха, но я лежу на своей кровати и даже не думаю выглядывать в окно. Мне он стал неприятен. Так нельзя. Я ничего не понимаю. Но мне плевать. У меня есть Дана. Думая о ней, я улыбаюсь.

Раздается звон разбитого стекла, в комнату влетает массивный булыжник.

— Ты что, охренел?! — подлетаю я к окну. Смотрю во двор. Там никого нет, только ветер тащит по земле лист газеты. Испуганно поджав хвост, пробегает мимо собака, шмыгает под арку.

Небо серое. Неприветливое. Бабуль храпит за стеной. В комнате быстро становится холодно. Меня пробирает дрожь.

Вздрагиваю от телефонного звонка.

— Алло!

— Алло! Алло! Сын!

— Папа?!

— Слышишь меня? Как вы там?

— Хорошо папа! Все хорошо! Как ты? Мы очень скучаем!

— У меня все отлично! Мы сейчас у берегов Аргентины! Скоро уже поплывем домой!

— Папа, как погода? Хотя плавать... Сейчас позову бабушку!

— Сын, как ты? Как учеба? Я не слышу тебя! Как бабушка? Дима! Я не слышу...

Связь обрывается. Слушаю, сжав судорожно трубку, короткие гудки. Жду. Жду чуда! Так хочется опять слушать отца, его взволнованный и радостный голос. Я понимаю, что невероятно по нему скучаю, по щекам текут слезы. Я не замечаю, я пытаюсь между коротких гудков поймать его голос.

— Папа, я так по тебе скучаю...

Комната усыпана осколками. Телефонная трубка захлебнулась гудками. Бабуль спит. Я сползаю на пол, и у меня начинается истерика. Слезы душат меня.

— Я так по вам скучаю...

Мне было шесть, когда умерла мама. Я ничего не понимал. Совсем ничего. Мне только сказали:

— Мама улетела на небо.

Но не настолько я был мал.

— Мама умерла?

— Да.

Вокруг меня были одни незнакомые люди, они меня гладили по голове и повторяли:

— Бедный мальчик...

— Почему мама умерла? — допытывался я.

— Она болела и умерла.

— Почему врачи ее не вылечили? — не успокаивался я.

Я не плакал. Был серьезен, сосредоточен, требователен к ответам.

А они все повторяли:

— Бедный мальчик.

Я смотрел на маму. Она, закрыв глаза, лежала неестественно вытянувшись, была ненастоящей. Я еще сомневался, но, когда мне сказали поцеловать ее в лоб перед тем, как ее начнут засыпать землей, под губами я почувствовал что-то очень холодное и твердое. Как лед. Я заплакал. Заплакал от ужаса.

Они шептали вокруг все одно и то же:

— Бедный... бедный...

А я точно знал, что меня обманули. Что это не может быть моей мамой. И я очень боялся того, что закапывали. Я обхватил ноги отца, вжался в них и дрожал. И требовал:

— Я хочу к маме! Пустите маму ко мне.

Мне казалось, что ее не пускают все эти люди. Я рыдал от ненависти к ним.

Смотрите, вот фотография. Я сижу рядом с мамой. В руках у меня шариковая ручка, я рисую самолеты со звездами на крыльях, но теперь отвлекся и смотрю в объектив. Улыбаюсь. Улыбается мама. Наши улыбки очень похожи, овал лица, глаза мамыны, нос папин. Мама чистит картошку и бросает ее в кастрюлю с водой, картошка, падая, брызгается, капли взрывают мои самолеты. За нашими спинами, посмотрите, видны старые часы с кукушкой, часть окна, занавески, тюль с крупными изображениями ромашек. Мама в домашнем халате. Я в оранжевой пижаме. Фотография черно-белая.

Еще есть аудиопленка.

— Мама, я хочу риса.

— Больше ты ничего не хочешь?

— Мама, я хочу риса!

— Расскажи лучше стишок.

— Какой стишок! Какой еще стишок! Я уже скагал.

— Не балуйся! Вот на елку пойдешь — что ты будешь рассказывать Деду Морозу?

- Вырастала елка!!!
- И все?
- Все!
- Ну и подарка не получишь! Вот в прошлый раз только благодаря мне ты получил котика!
- У меня уже был такой котик, не надо мне два таких котика...
- Ы-ы! Поплачь...
- Ты! Поплачь!
- А если Лена придет, что ты ей скажешь?
- Лена, покажи калена!.. Писать хочу!
- Давай, пописаи в баночку.
(журчащий звук)
- А-а-а... — блаженный вздох.
- А теперь покакай, — смех.
- Риса хочу!

Приходит Большой Айвар, чуть ли не силой вытаскивает меня на улицу, спасает от накатившей тупой меланхолии. Идем к Маленькому Айвару. Берем с собой его собаку. Зовут ее Герда, порода «колли», добрая и неповоротливая. Идем в парк Мажвидаса, материмся, пошлим, разглядываем идущие впереди задницы. У меня выпытывают подробности моего соития с Даной, я бессовестно вру, со смехом имитирую, как она вскрикивает в экстазе, а самому мерзко и печально. По-прежнему пасмурно.

5

Последняя фишка — спать по два часа в сутки. Ночью либо рисую, либо читаю. Собственно, не важно, чем ты занимаешься, главное, ради чего ты себя мучаешь, — это тишина в квартире,

в городе. Человеческое существование невероятно захламлено звуками. Только ночью словно снимаешь с себя грязные одежды, слоняешься голый из комнаты в комнату, разглядывая себя в черно-белые зеркала. Ты возбужден и беззвучен, расправляет крылья черная уродливая летучая мышь. Перелетает с места на место. Пытаешься поймать ее взглядом, но видишь только краешком глаза. Запираешься в ванной. Долго смотришь на себя в зеркало, глаза в глаза — ни намек на сон. Маешься.

Просыпаюсь с рассветом. Смотрю, сидя на кухне, как светлеет воздух и ползут длинные тени. Небо сильное, краски еще не разбавлены дневной суетой, солнце испаряется. Метла печального дворника скребет асфальт. Завариваешь кофе, пьешь медленно, не спеша. Поднимается бабуль, звуков все больше и больше, звонят кастрюли, бьются и пищат водопроводные трубы, дом просыпается. На лестничной площадке уже слышны перебирающие ступени шаги — шуршат подошвы.

На первый урок все равно опаздываешь. Это как курить — вредная привычка, от которой так просто не отделаться. Математичка ставит в журнал всем опоздавшим нолики. Берешь мел и, вместо того чтобы решать примеры с производными и интегралами, ставишь крестики, но вот ответный нолик — опять никто не победил. Ладонью все размазываешь. Еще пытаешься доказать теорему, но это невозможно, так как язык не слушается, и слово «перпендикулярно» — превращается в «перпендир». Все ржут. Тебе вяжет язык. Хочется подойти к окну, распахнуть его и покурить. Математичка издевается. Поднимает одного за другим — ищет решения.

Саня Желобаев, сморозив полный бред, возмущенно вскакивает: — А я что сказал?

Математичка бесится. Лепит двоечку.

После математики химия. Кабинет, по каким-то там правилам, проветривается, все стоят у подоконника, смотрят на собачьи игрища. Как видно из титров, кобель прилип, письку не

вытащить, сей факт крайне интересен юным натуралистам. Все улюлюкают и лыбятся. Химичка обнимает классный журнал, тихо, но настойчиво зовет в класс. Никто не реагирует. Все повернуты к ней спиной, делают вид, что это в порядке вещей. Химичка тихо бесится. Предложение свое повторяет. Результат все тот же. Минут через пятнадцать, когда уже и коту понятно, что урок сорван, у химички истерика, и по коридору слышны гулкие шаги Барвена, измученный кобель падает, сучка дергается: жучка за внучку — вытянули репку.

— Ого-го! — всеобщее одобрительное. Барвен багровеет и что-то орет. Химичка в обмороке, а в классном журнале «перпендир» тридцати двух двоек.

Дальше биология. Полученные знания идут в дело, скрещиваете кроликов белых с черными — получаете зайчат фиолетовых. Красивыми зелено-прозрачными становятся листья комнатных растений в лучах солнца. Играешь ресницами, расщепляя солнечный свет по спектру. У биологички блузка облегающая, джинсы подчеркивающие — все парни отказываются выходить к доске. Не спасают даже просторные джинсы.

Физика — кабинет темный, сумрачно и холодно. Рядом в полной темноте ползают странные твари, кожа их теплая, бьется вместе с кровью внутри жизнь, они проскальзывают в каких-то миллиметрах от меня, я чувствую лишь движение воздуха. Нестерпимо хочется дотронуться до них, поймать, и вместе с тем при одной лишь мысли появляется панический страх.

— Дмитрий Андреев! Не спать!

Никто и не спит, я только сижу, закрыв глаза, а рядом, в миллиметрах от меня — одноклассницы. А у училки торчат соски, точно!

На пятом уроке поем еврейскую песенку, выстроившись каждый у своей парты, «Авени шалом алейхем, авени шалом алейхем, шалом, шалом, шалом алейхем», на радость учителю по русскому и литературе Анатолию Соломоновичу. У него гноятся глаза, и

непослушные еврейские кудри торчат во все стороны, учебник литературы замещен Библией, как же иначе, нет иной Книги.

В свое время я ходил к нему на факультативные занятия по субботам. Вместо правил русского языка мы учили псалмы. Однажды к нам на урок пришли баптисты, и я, как наиболее способный ученик, должен был задать вопрос. Я не растерялся и, поднявшись со стула, в искренней озабоченности спросил:

— Вы ведь не станете отрицать, что инопланетяне существуют? — было преддверием моего вопроса.

Мне кивнули немного недоуменно.

— И Бог создал нас и их по образу и подобию Своему?

Мне опять кивнули.

— Тогда объясните, почему мы так не похожи?!

Баптисты так и не нашли, что мне ответить, но подарили книжку Кристины Рой. Мой вопрос был признан лучшим.

Шестым уроком у нас физра. Бежим по вытаявшим собачьим следам два километра на время. Проклинаю все: и себя, и прокуренные легкие. Отхаркиваю слизь с прожилками темной крови. Я прихожу третьим, но на финише поскальзываюсь и падаю в грязь.

Я заскочил домой, только чтобы бросить сумку с тетрадами. Затем тут же помчался к Дане. Так было заранее оговорено.

— Куда пойдём?

— Давай просто погуляем...

Гуляем.

— Дима, расскажи мне что-нибудь...

— Что?

— Что-нибудь...

— Сказку?

— Быть может, и сказку...

— Как дед насрал в коляску?

— Дурак!

Я смеюсь, но все равно начинаю рассказывать. Про свое детство. Про то, как проснулся от солнца. Очень давно, много лет назад. Проснулся лишь по одной причине, мне хотелось проснуться... Может быть, меня разбудила своим мурлыканьем кошка, та самая кошка, с мордочкой мартышки и кривым хвостом, что совсем недавно котенком лакала молоко под моей ладонью, приседая от ласки. А теперь щурится от солнца, разрывающего грезы и сны на светлые кусочки дня. Я маленький мальчик. Меня зовут Дима. Здравствуй, день.

На лице моей бабушки не счесть морщин. Не счесть лет прожитых. Шлепаю босиком из спальни наперегонки с кошкой на запах готовящегося завтрака.

— Бабуль, с добрым утром! — хватаю за руку, теплую, мягкую, целую подставленную щеку. Бурлит, грохочет крышкой кастрюлька, стреляет масло на сковородке. В окне в зеленых липах прыгают с ветки на ветку и щебечут воробьи. Гуляют по подоконнику голуби.

Вдруг становится грустно. Я забираюсь с ногами на стул и смотрю с мольбой.

— Чего ты, Дима?

Губы дрожат, шмыгаю носом.

Бабушка ставит передо мною чай. Размешивает сахар, и ложка звенит словно маленький колокольчик. Окна выходят на площадь. В утренних лучах она пустынна и спокойна. Лишь подобно китам фыркают неповоротливые «икарусы», распахивая двери на остановке, впуская внутрь сонных и растрепанных пассажиров.

В спальне в поисках носка заглядываю под кровать. Выискивая шорты, смотрю под стулом. Майка на зеркале. Кепка на цветке. Гляжу в окно. Птицы в небе. Канализационные люки и крыши гаражей внизу. Дикая котятка играет с тенью и своими хвостами. Я с тоской смотрю на все это. А солнце все выше, и мысли светлее. Внизу под окнами ждет меня мама.

— Дана, как хочется не взрослеть, быть этим маленьким мальчиком.

— Да, в детстве я любила лазать по деревьям и драться с пацанами, мои коленки всегда были изодраны, локти тоже. Помню, как всегда хотелось содрать застывшую корку с раны, сдирала, пила свою кровь. Или наемся зеленых яблок и потом неделями...

— Я не совсем об этом...

— А о чем?

— Я о том, как чувствовала тогда жизнь. Я о том, как хотелось просыпаться утром, и о том, как не хотелось засыпать. Как каждый день был, что ли, совершенно законченным, весь в себе. Каждое утро просыпался в новом удивительном и теплом мире...

— Мы всегда приписываем детству многое, чего не было.

Мы целуемся. Но при этом мне не отделаться от ощущения, что одновременно меня накрывает светом того самого дня из моего детства, когда я сбежал по лестнице, вылетел из подъезда и обнял маму. Реальное воспоминание или мои фантазии? Не знаю, но иногда мне кажется, что Дана похожа — впрочем, едва заметно — на мою маму. Возможно, я по данному пункту двинутый.

Я вжимаюсь в Дану. Нащупываю ее грудь и прямо через одежду впиваюсь в нее зубами. Чувствую вкус молока. Орущий до посинения ребенок во мне замолкает. По венам тепло. В груди счастье.

— Мама, я люблю тебя!

— Что?!

— Дана, я люблю тебя!

Я точно двинутый. Точно что-то там по Фрейду!

Я как-то странно гулял с Даной. Все больше по каким-то подворотням. Прогуливаться с ней на Манто мне было тягостно. Все норовил выдернуть из ее руки свою руку. Мне кажется, что я не хотел, чтобы нас видели вместе. Почему, я сам не знаю.

Когда уже темнело, провожал ее до подъезда, и там мы целовались. Жевались. Сладостно. Теряя ощущения времени и

пространства. Когда приходил в себя, я был уже почти у собственного дома. Веют сквозняки, моя ширинка неизменно расстегнута.

Нет, я уверен, что я был счастливым ребенком. Мне помнится, несмотря ни на что, чувство нежности, теперь превратившееся в уксусную кислоту: пью маленькими глотками — морщусь внаocale, потом выворачивает наизнанку.

Фотография: мама и папа молодые, целуются на балконе, на линии горизонта, прически у них странные, советские, но у отца уже видна пусть маленькая, но проплешина, мама закрыла глаза, фотограф, быть может, тоже выпивший, смеется и улюлюкает, а им на все посрать.

Разглядывая свои голые ноги в 2:34 ночи, я поражаюсь, насколько мы с отцом все же похожи.

Ноги кривые, тонкие, волосатые. Такие ноги любят женщины. Мать смеялась нам вдогонку, находя сходство в наших походках и в том, как не заправлены сзади рубашки.

Отец, часто отправаясь по рюмочным, не противясь моему присутствию рядом, говорил, быть может, чересчур громко, чтоб девушкам, идущим впереди, обязательно что-нибудь да слышалось:

— Как тебе эти ножки, сын?

— Ничего! — отвечал я, довольный.

— А по-моему, немного угловаты.

Его оценки смягчались на обратном пути. Раскрасневшийся жизнерадостный отец цеплял женщин, что за тридцать, говорил:

— Привет. Как дела, милая?

Они отвечали:

— Замечательно, милый, — улыбались и отыскивали для меня конфеты.

Я спрашивал:

— Ты знаешь их?

— Нет, — отвечал и, довольный, шел дальше.

Мы дарили маме макароны и по-партизански переглядывались.

После, взрослея, с друзьями и в одиночестве, я улыбался девушкам, говорил в юной нетрезвости:

— Как дела, милая?

Не отвечали. Шли, виляя незрелыми бедрами на костлявых ногах. Сказочно.

А на других фотографиях утро. Мать курит. На моей спине спит сиамская кошка. Отца нет. Он просто за кадром. Он фотографирует. Да-да, вот его тень, падающая от солнечного света в спину, тень на моей кровати, прикасающаяся к вылезшей из-под одеяла голой пятке.

Отец должен вернуться через две недели. Жду. Жду жвачек и сникерсов. Перебираю фотографии. Наверное, скучаю.

6

Так совпало, что в пятницу класс решил провести «Огонек». Это не собрание пионеров и не обсуждение того или иного комсомольца. «Огонек» — это когда весь класс собирается и с позволения школьных властей, закрывающих на это глаза, и под присмотром классухи дружно напивается. А затем танцы-шманцы и долгие разговоры с толчком в обнимку, что поделать, организм еще молодой и неприученный.

В нашем классе тридцать два человека, после всех вычетов — ну там ботаны и кривые девицы — на «жибурелис» (это если по-литовски) является человек двадцать пять. Накрывается стол: пироги и пряники, груши, яблоки, бананы — для острых девичьих

зубчиков. А под стол, по всем правилам, батарея бутылок: пиво, вино, водочка — все, как полагается. Но в последнее время пиво покупаем канистрами, поэтому пить пиво теперь целый ритуал — ведь скучно просто из стаканчика или бутылки — нужно прямо из канистры, глотая по семь-восемь глотков темного крепкого балтийского. Кстати, нет пива вкуснее литовского и девушек красивее прибалтийских. В этом все мы патриоты. Я притаскиваю из дома магнитофон, он у меня хоть и старенький, но фирменный, не то что там всякие китайские подделки Panasonic и Sharp, чистой воды Sony! Врубаем на самую мощь басы, чтоб дрожали стекла. Все вытаскивают свои кассеты. И начинается битва вкусов и предпочтений. Металл соседствует с рэпом, Буланова с Виктором Цоем, «Мальчишник» с Кобзоном, в общем, все пляшут и морщатся попеременно. Морщатся вначале и от музыки, и от алкоголя, затем только от музыки, после вовсе не морщатся, отплясывают на столах.

Есть один фантик, так он, как упьется, начинает кривить лицо и дрыгать руками и ногами, как Майкл Джексон. Ладно, в классе, но он умудрялся локтями крутить на площадках, где весь город собирается, выглядит все это — обхохочешься, но его при этом хлопнешь по плечу, предвещаешь великое будущее, он скромненько опускает глаза, а сам изнутри сияет. Выключаем свет в классе, смотрим, как его кожа в темноте серебрится, фосфоресцирует.

Естественно, я держался рядом с Даной. Подливал ей вина, сам не отставал — запивал водку пивом. То и дело в класс заглядывала классная Ирена Йоновна. Делая вид, что мы совсем не пьяные, мы предлагали ей лимонад с печеньем. Она играла по правилам, пила лимонад не морщась, закусывала колбасой.

Через некоторое время все чаще выключался свет, заиграли медляки. Я утаскивал в темноту Дану, с каждым па (топтанье на месте с ноги на ногу) прижимался все ближе, вскоре чувствовал каждый изгиб ее тела: грудь, живот, бедра. Мы были порядочно

выпившие, начали целоваться. Меня не стало. Я куда-то провалился. В чувство меня привел прямой удар в нос.

Я теряю равновесие. Падаю. Кто-то визжит в темноте. Включается свет.

Батизад стоит надо мной.

— Тварь, я тебя предупреждал. Держись от нее подальше.

— Пошел в жопу, урод!

Удар ногой в голову. Вспышка — по воздуху очень медленно летят кровавые пузыри. Падают на пол — лопаются.

Меня поднимают. Батизада скручивают, и под дружное улюлюканье все вместе идем по пустым и темным коридорам школы, спускаемся по лестнице, выбиваем дверь, выходим на футбольное поле. Как и были, в тонких потных рубашечках, под мокрый снег.

Батизад скалитися:

— Тебе не жить, урод!

Я сплевываю кровь. Мне ни хрена не больно, и страха нет. Под боком Айвары: Большой и Маленький — если что, его запинают. На остальное — мне поспать.

Батизад крупнее меня, видны бугры бицепсов. Максимум, на что я могу рассчитывать, успеть разбить ему глаз, если не мешкать и бить сразу.

Поэтому не размышляю, как только меня отпускают, лечу, словно мотылек на свет — прямиком на его нахальную ухмылку. Распрямляю зажатую в кулак руку и бью.

Глаз вылетает у него из глазницы и падает в талое собачье говно. Что-то вспыхивает. Батизад начинает искриться, из него летят пружины, в три секунды он разваливается на части. Кто-то подходит к нему, трогает ногой:

— Ребзя, это киборг!

Тут же я получаю ответный удар под дых. Не время фантазиям. От моего удара Батизад только дернулся и еще больше оскалился.

— Ну что щенок, хочешь драки! Ее получишь!

Дальше неинтересно...

Когда меня привели в чувство, я, постанывая, поднимаясь из лужи, весь грязный, только и нашел что сказать:

— Чуваки, надо бухнуть.

В тот вечер мы пьянствовали в каком-то подъезде с Витюхой и Айварами, а потом еще поиграли в баскетбол.

А Дана? Наверное, домой ушла, не помню...

На следующий день ужасно болела голова, нос был заклеен пластырем, под глазами фонари. За окном солнце. Его лучи грели лицо.

Я лежал и рассматривал трещину на потолке. Какой все это будет иметь смысл, если, к примеру, эта трещинка вдруг зазмеится, разрастаясь, и толстый пласт штукатурки обрушится на меня и погребет под собой, поднимая клубы пыли и белил...

От таких мыслей я сполз с кровати, переполз на кресло, но не удержался и вновь поднял голову, увидел, как меняет свое направление змейка трещины, тянется ко мне. Поморщившись, выполз из моей комнаты, дополз до ванной. И только сполоснув лицо, немного пришел в себя. Похмельный психоз.

Я поднял взгляд. Отшатнулся, но потом все же узнал себя в зеркале. Присмотрелся. Все не так и плохо. Изначально думалось, будет хуже. Да, нос вспух, пластырь — не знаю, кто его наклеил — уже отклеивался. Нос был однозначно сломан: о том, чтобы дотронуться до него, не могло быть и речи. Я стал еще больше похож на обезьяну — черты, заложенные в меня самой природой, получили неожиданное усиление. Фонарь под левым глазом светил интенсивным фиолетовым светом. Можно будет затушить каким-нибудь бабушкиным кремом. На лбу шишка. По всему телу синяки. Черт, он меня славно отметелил!

В остальном я был прекрасен. Раны только добавляли мужественности.

— Не достоин ты бандита, если морда не подбита, — заглянула в ванную бабуль. — Дима, что с тобой происходит?!

— А что такое? — удивился я.

— Ты был таким хорошим мальчиком, а сейчас пьешь, дерешься, скоро в дом еще и заразу какую принесешь!

— Какую такую заразу?

— СПИД!

— Бабуль, меньше смотри свой телевизор!

— Я передачу видела!

Бесполезно. Завелась. Нужно скорее из дома сваливать. Это надолго. Часами теперь будет промывать мозги.

Но бабуль вдруг замолчала и в тишине ушла на кухню. Поставила чайник. Налила мне крепкого чаю и со вздохом сказала:

— Звонил отец. Он через три дня приезжает.

Я застыл. По телу пробежала толпа радостных мурашек. Сердце екнуло.

Наконец-то! Супер! Батя возвращается. На восторгах я чмокнул бабуль в щеку.

Нет, конечно, я знал, что он вот-вот должен приехать. И ждал этого момента с нетерпением, но в последнее время из-за этих всех влюбленностей и волнений все прочно вылетело из головы.

Тут я подумал о Дане. «Стоп! А куда вчера делась Дана?!»

Звоню ей.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — голос Даны.

— Позовите, пожалуйста...

— Ее нет!

— Нет...

— Нет!

— Извините...

Полный бред. Вешаю трубку. Ничего не понимаю. Набираю номер еще раз. Поднимает трубку опять она:

— Алло!

Говорю:

— Привет.

Отвечает:

— Привет.

Продолжая ничего не понимать, спрашиваю:

— Как дела?

Отвечает:

— Хорошо.

Спрашиваю:

— Почему тебя дома нет?

Отвечает:

— Гуляю.

— Где?

Молчит.

Я понимаю, что весь этот разговор звучит крайне глупо, но делаю попытку придать ему хоть какой-то смысл:

— Давай погуляем вместе.

Молчит.

Молчу.

— Давай...

Она живет на Спортинке — параллельной Манто улице, берущей свое начало от футбольного поля клайпедского клуба «Жальгирис». Через пятнадцать секунд я с букетом цветов под ее окнами. Угадываю окно. Жду. Весь такой красивый, вот только то здесь, то там — пластырь. Памятник герою. У моего подножия крошат клювами асфальт воробьи. Ползают дурные от весны мухи — совсем скоро жужжать и блестеть зеленым брюхом, а пока разрешено немного поползать. А я без движения, как монумент!

Но вот слышно, как кто-то стучит каблучками по ступенькам, слух обострен как-то странно, слышно только это, остальное приглушено-призрачно. Памятник покрывается трещинами. Рушится.

Распахнулась дверь подъезда, выбежала какая-то малолетка с собакой. Собака тут же прилипла задницей к газону.

Даны все нет.

Когда воробьи и мухи растаскали все обломки, от меня остался только жалкий юноша, которого плющило от похмелья и страха, что она не придет.

Паром медленно полз по Данге мимо пришвартованных к высокой каменной набережной катеров и слепых заборов рыбпорта. Из-за заборов были видны громадины портовых кранов — как неотъемлемая часть горизонта портовых городов, они чем-то похожи на аистов. С выходом в длинный узкий клюв Куршского залива стали видны и корабли: большие и маленькие рыболовные суда, танкеры, военные крейсера: что-то — иностранное, что-то — ржавое и неприглядное, оставшееся в наследство от советских времен. В воздухе ловлю своим теперь увеличенным носом морскую соль, запах рыбы, дым переработанного топлива. Глаза хватают чаек. Одного батона едва ли хватит для их прожорливых криков. Особое удовольствие с криком: «Смотри — моя поймала!» — швырять мякоть, как можно выше, насаживая тем самым прямо на глупый клюв. На губах все та же соль, облизываю их сухую поверхность, хочу поцеловать бледную шею глупой чайки.

Мы стоим у правого борта. Рядом, не прикасаясь. Даже не разговаривая.

— Да черт! Объясни наконец, что случилось?!

— Ты вел себя вчера ужасно...

И опять молчим.

— Дануте...

— Что?

— Да ну тебя!

Некоторое время — три раза бьется волна о борт — размышляет, но наконец улыбается.

Куршская коса — это «удивительный природный комплекс». А еще сосны, песчаные дюны, шум волн, рвущий одежду ветер,

в несколько секунд тебя наполняет все это, и ты не в силах продохнуть, да вот трещит под ногой шишка, и ты возвращаешься в тело. Но на протяжении всего времени, что ты тут, трепещут в благоговении крылышки носа, ты боишься слово произнести, чтоб только не нарушить незримо царящее здесь спокойствие, прячешься за пригорками, только чтоб не смазать своим присутствием взрывающуюся здесь красоту.

Впрочем, не для этого я сегодня здесь.

Мы сошли на берег. Купили сладкой кукурузы и гренок. Ушли на это все оставшиеся после вчерашнего сабантуя деньги, но кто в этом сознается. По тропинке здоровья (метров сорок по лесу мимо турникетов и проворачивающихся под ногами бревен) мы отправились к морю. В лесу еще не сошел снег, но солнце грело, на пляже было холодно от пронизывающего холодного ветра. Ветер гнал волны.

— Мне холодно.

Это знак.

Мы спрятались в дюнах. Лишившись силы ветра, солнце грело плечи. Прикосновения становились все более настойчивыми. Задергались пальцы в застежках лифчика.

— Стой. Не надо...

Но кто, скажите, на это клюнет?

Ко мне в ладони прыгнула ее грудь.

В следующий момент я получил коленом в пах.

Странно. Не было этого раньше. Был стеснителен. При одном прикосновении покрывался красными пятнами, стыдливо опустил ресницы, длинные, как у мамы. Потом началось. Проснулся интерес к теме. Нашел у отца журнальчик с совершенно голыми людьми. У мужчин вместо писек между ног поднимались подошники. Потачил журнал Валерке, он на пять лет старше! Валерка ничего объяснять не стал, сделал кучу фотографий, стал

всем продавать. Я же получил по ушам от отца, когда зачем-то во всем признался.

И теперь опять собачья дилемма. Все понимаю, но сделать ничего не могу.

И каждый из моих товарищей ее решает, как может.

К примеру, Мишка, Лешка, Сашка — скинулись, пошли к проститутке. У них там чего-то не заладилось, что-то не получилось, хотя, казалось бы, что там может не получиться? Отмалчиваются, все отрицают.

Женька, тоже одноклассник, потащил толстую Катю на дачу, но она ни в какую, подавай ей резинку!

— Стирку, что ли?

Заржала хрипло.

Потом до него дошло. Запасся до конца жизни, сидит, ждет. Курит. Она опаздывает. Он курит. Выкурил от волнения пачку. В итоге, когда она все же пришла, он был настолько расслаблен, что ни уговоры, ни действия не возымели результата.

Все, конечно, здорово, но где тут любовь? Где смысл? Я хотел для себя иного.

— Все в задницу!

Она не звонила. Я из упрямства сидел в полной темноте, не зажигая свет, ждал. Не дождался. Решил лечь спать. Не мог заснуть. В итоге не выдержал, сломался.

Позвонил. Ночь. Услышав ее сонный голос, я вне себя от счастья.

— Алло...

— Привет, это я...

— Чего тебе надо?

— Я хочу сказать, что люблю тебя.

— Придунок.

И правда. Вешаю трубку.

7

Сегодня. Он должен был приехать сегодня.

Я сидел и вспоминал, как ждал маленьким мальчиком его возвращения, боялся его усов и радовался подаркам. Как у каких-то проходных мы с матерью ждали, мечась от одного человека к другому, с одним вопросом:

— Когда их выпустят?

А я:

— Мама, где же папа?

Над головой нависали жирафы портовых кранов, черное небо и слепящий свет белых прожекторов.

Прижимаясь к нему изо всех сил, повисаю на шее, смеюсь, мне радостно и щекотно от колючей щетины.

— Папа, ты привез жвачки?

— Хоть жопой жуй, сынок.

Я свалил с третьего урока. Все по правилам, отпросился у классухи, мол, приезжает отец, надо встречать. Поехали вместе с бабуль в аэропорт в Палангу.

Если уменьшить масштаб до высоты птичьего полета, Клайпеда и Паланга покажутся грязной пеной на кромке большой лужи. Высота полета чайки по имени Джонатан Ливингстон.

Но не в этом суть.

Расстояние между городами небольшое. Легко добраться до Паланги автостопом. Пару раз так ездили. Разбивались на пары. Однажды ехал так с Нерингой, подружкой товарища, который был в другой паре. Так почему-то получилось. Она ни бе ни ме по-русски, я — ни бе ни ме по-литовски. Но все равно сладили. И поцелуй я ей все же влепил. Стояли под дождем, и не одна сволочь не останавливалась.

Бабуль, пользуясь случаем, сидела у меня на ушах. Я проклял все на свете, хотел выйти из автобуса и добираться своим ходом. Но мы уже опаздывали, самолет вот-вот должен был приземлиться. Еще я поел в школьной столовке сосисок и меня мутило. Не слушал бабуль совершенно. В себя вслушивался: доеду — не доеду, сблую — не сблую. Не доехал.

— Тебе плохо? — озадаченно прервала свой монолог бабушка.

Я размазал куски сосисок ботинком и ответил:

— Мне хорошо.

В результате произошло чудо, она замолчала.

Смотрел в окно на аккуратные домики и поля. Над ними кружили черные птицы.

Самолет задержали на два часа. Я нервничал. Я никогда в жизни не летал. Боялся. К тому же, что говорить, если меня даже в автобусе укачивало. А в детстве еще хотел стать космонавтом...

Наконец объявили прибытие.

Скоро появился и он. Весь увешен сумками. Темнолицый, с сияющими глазами, отыскивающими нас в толпе, усатый и живой.

Заметив нас, замахал руками и, отпихивая всех, расталкивая сумками, не обращая внимания на возмущенные какие-то там возгласы, устремился к нам. Я ринулся к нему. И был уже готов обнять его, как он обогнул меня, оставил за своей спиной.

Он обнял бабуль и спросил:

— А где сын?

— Так вот же он, — ткнула в меня пальцем.

Он обернулся и недоуменно посмотрел на меня:

— Как это?..

Наконец узнал.

— Оба-на! Во как вымахал! Я ведь помню тебя на голову ниже, без этого пушка под носом, да, кстати, что у тебя с носом?

Тут включила громкость бабуль:

— Он ведет себя ужасно. Пьет! Курит! Ночами где-то пропадает.
На что отец засмеялся и сказал:

— Мой сын!

Дома первым делом отец сбрил усы и заставил побриться меня.
У отца традиция: уходя в море отпускать усы, на берегу бриться до синевы кожи.

— Всякая растительность на лице неприятна барышням при поцелуях, запомни, сын!

Дальше он поел и лег спать. Мне же дал пятьдесят долларов и сказал, чтобы к вечеру они были истрачены. Нет проблем!

Отец приехал. Супер!

Хоть яйца еще болели, первым делом я позвонил Дануте. Память влюбленного коротка, но в ответ только длинные телефонные гудки и бесконечное ожидание. Вот сейчас, да, в следующее мгновение, я услышу ее голос. Боже! Нет на свете ничего лучше! Конец мучениям, пусть будет все как и прежде.

Вдруг:

— Урод, что ты мне названиваешь?

Съел. Глаза заслезились, виляющий от радости хвост — поджал, заскулил, зажав в руке доллары США, вышел во двор...

Вспомнил, что у меня есть дружбан, он живет здесь рядышком. Неплохо было бы к нему зайти. Хоть он и не пьет, так хоть выслушает. Андрюха, человек с печальными глазами, только ты сможешь меня теперь спасти!

По лестнице и лестничным площадкам были разбросаны цветы и еловые ветки. Пахло тягуче, то ли Новым годом, то ли похоронами. Я поднялся на третий этаж, начал барабанить ногой в дверь. Без скрипа дверь открылась. В воздухе в призрачной темноте я увидел бледное изможденное лицо.

— Привет, Андрюха! У меня батя приехал, денег дал! Идем бухать.

Я потащил его по лестнице вниз, в притворном воодушевлении, скрывая вселенское свое горе. Скоро вывалю его на тебя, Андрюха, ты уж извини...

Я, не давая ему сказать слова, говорил и говорил, рассказывая о том, как приехал отец, как мы его встречали, как он меня не узнал, как...

— Смотри... Не, дай руку! Чувствуешь, как гладко! Да, да! Я побрился!

Мы шли по Манто. Было тепло и влажно. В воздухе парило, очертания ближайших предметов становились расплывчатыми. Далеких — четче. Фонари цвели электрическими лучистыми одуванчиками. Мы завалились в «Пингвин»!

Кафе «Пингвин»: при советской власти здесь только и можно было, что поклевать ванильного мороженого из алюминиевых вазочек, при новых же реалиях — пиво, водка, абсент, стриптизерши на барной стойке, плюс весь комплекс всевозможных развлечений, только бабки плати.

Сели за столик в глубине зала. Было шумно и накурено. Официантку было не дозваться, а я, чувствуя невероятную уверенность от присутствия зеленой банкноты в кошельке, все вскакивал и вопил:

— Девушка! Мать-перемать! Нам водки!

На мое удивление, Андрей сам наполнил себе рюмку и, не глядя на меня, по-прежнему опустив взгляд вниз, выпил.

— Во! Это я понимаю! — завопил я. Невероятно обрадовавшись, что Андрюха забухал.

Быстренько наполнил вновь рюмки и чокнулся с Андрюхой, пристально наблюдая за его движениями. Опять в точности повторилось все то же самое. Он, даже не поморщившись, выпил еще один стопарь.

Я закурил, очень довольный происходящим. Он, словно в точности повторяя каждое мое движение, взял сигарету и закурил. Закашлялся, при этом наконец поднял взгляд, виновато улыбнулся...

— Ну как ты? Пришел в себя?

Он кивнул. Лицо его просветлело. Кожа заблестела от проступившего пьяного пота. Я разлил по стопкам еще. Он опять выпил.

Мы славно набухались в «Пигвинасе». Чуть не зацепили каких-то мергалок. Ногастые, сиськастые. На лицо — лошади. То, что надо! Но моих пятидесяти долларов не хватило бы даже на один-единственный поцелуй.

Шли домой с Андрюхой, обнявшись, я то пел песни, то грузил Андрюху рассказами о Дане.

— Понимаешь, Андрюха, бабы — они есть бабы. Ну что им в жизни нужно? Ясно дело, лифчики и помадки. Другое дело — настоящая мужская дружба! Андрюха, ты мой лучший друг. Я люблю тебя больше всех!

Я крепко обнял его.

Тут произошло нечто незапланированное: Андрюха тоже обнял меня и начал меня целовать, судорожно и нежно прикасаясь губами к моим губам. Я не сразу врубился, что происходит. Слезы потекли по его щекам.

Я отпихнул его. Вмиг протрезвев.

— Ты что, совсем?!

Он дернулся. Весь сжался. Взгляд его опять упал на асфальт. Все так же молча он развернулся и побрел по направлению к своему подъезду. Я ошарашенно смотрел ему вслед, на его сгорбленную спину.

На следующее утро я узнал, что еловые ветки на лестничных пролетах в подъезде были не случайны. В тот день хоронили Андрюхиного отца. Он умер в сорок шесть лет, хрен знает, от чего.

Я все больше и больше запутывался. Что происходит с этим миром? Почему так странно ведут себя люди. Андрюха голубит в день похорон отца. Лучше бы как-то по-другому сублимировал. Стихи бы писал, что ли. Дана посылает меня раз за разом как по телефону, так и в школе, трется о руку Батизада, словно кошка,

а он криво издевательски лыбится. Отец вернулся, но только и знает, что совать мне деньги, а сам где-то шляется и кутит, меня вообще не замечает.

— Да пошли вы все в жопу! Уроды!

Весна бродила во мне, лишая покоя, рассудка и сна. У меня началось помешательство. Зеленый свет сочился по венам. И я не мог себе позволить напялить на себя узкие джинсы.

Ходил в одиночестве, пялился на задницы и думал об этом весеннем уродстве, всеми называемом обострением.

Но знал, что рано или поздно это все закончится.

8

Я закатил истерику прямо на перемене. Я вцепился ей в руку и не отпускал. Я рыдал. Молил ее вернуться. Она кривила лицо. Брезгливо отнимала руку. Вовремя подоспел Батизад, впечатал мне кулак в лицо и пару раз пнул. Рассек мне кожу на подбородке. Айваров — Большого и Маленького — отпустили с уроков, они возили меня в больницу, накладывать швы. Ржали надо мной. А я был неразговорчив, но уже пришел в себя.

Естественно, после больнички мы нажрались в «Мелодии».

Я вернулся в тот день домой часов в одиннадцать. Протрезвевший, хмурый, измученный мыслями о Дане. Отец опять устроил дома глобальную попойку. Веселье было в самом разгаре. Отцовские дружбаны с женами и любовницами сотрясали сервант своими танцами под Аллу Пугачеву.

— Сын, иди сюда!

Я подошел к отцу, он тут же подгрел меня к себе.

— Таня, знакомься — мой сын.

— Привет! — Таня показала свои зубы, которые влажно сверкнули в электрическом свете, и, пьяно горя щеками, нырнула в потный клубок танцующих.

— Как тебе? — подмигнул мне отец.

Я лишь нахмурился и, высвободившись из-под его руки, ушел в свою комнату. Задвинул щеколду... Не мог заснуть от шума за стеной. Мне было некуда спрятаться. Грудная клетка ныла от тоски. Я смотрел в потолок на отсветы проезжающих по двору машин. Стало невыносимо. Все порывался встать, одеться и уйти слоняться по улицам. Но я лежал и пытался не думать ни о чем. Хотелось женщину.

Когда умерла мама, почти сразу в доме стали появляться разные женщины. Они дарили мне заводных обезьянок. Обезьянки играли на скрипках и ударяли в жестяные блюдца. Я садился на пол и заводил всех подаренных мне обезьянок. Их было много. Незнакомая тетя гладила меня по голове, я не реагировал, сидел хмурый и замкнутый. Знал точно, что и эта не задержится надолго. Они все пропадали, когда отец уходил в море.

Я рос. Однажды пришло знание, что женщины не просто так. Разрезая им животы, из них достают маленьких детей. Аисты тут ни при чем.

Я просыпался от странных звуков. Слышал, как кто-то, мучаясь, стонет. Отчетливо представлял вспоротые животы. Как окровавленными руками во внутренностях ковыряется мой отец, выискивая себе новых детей.

Однажды, желая прекратить это, я взял молоток и проломил головы всем подаренным мне обезьянкам.

Я открыл глаза. Мутное раннее утро наполняло небо отчетливым светом. Я прислушался, пытаюсь понять, что меня разбудило. Было слышно, как похрапывает за стеной бабуль. В неосознанном беспокойстве я поднялся и, стараясь не шуметь, подошел к порогу своей комнаты и выглянул в коридор.

Дверь в комнату отца была приоткрыта.

Таня лежала на кровати совершенно голая. Она спала, но во сне происходило что-то, от чего ее тело горело в сладостной неге. Ее рука была зажата между ног. Отца не было. Я не в силах оторвать взгляд смотрел на ее грудь, живот, бедра. Волны жара накатывали на меня, меня покачивало, и все плыло перед глазами. Мне было страшно, мне было стыдно, я знал, что стоит ей открыть глаза, она увидит всего лишь жалкое костлявое подобие мужчины. Но вместе с тем мне было уже все равно. Мною владело желание. Чистое, животное, честное. Я подошел вплотную к кровати и стащил с себя трусы. Стоял и молча ждал. Таня, казалось, не просыпаясь, едва приоткрыв глаза, взяла мою руку и притянула к себе. Я будто провалился в раскаленную пропасть. Жарче самого знойного лета. Но вместо того, чтобы почувствовать восторг, что я наконец теряю девственность и становлюсь настоящим мужчиной, я боролся с готовым вырваться из груди обиженным криком новорожденного.

ЧАСТЬ II

РАССКАЗЫ АНДРЕЯ

ТИКИ-ТИК

— Алиса, я заберу тебя поздно, — женщина нажала на кнопку первого этажа, и лифт пополз вниз. Девочка кивнула. Лифт, не доехав, остановился на седьмом этаже, и в него зашел еще не проснувшийся мужчина с коричневой собакой, невнятно поздоровался и словно заснул, женщине самой пришлось вновь нажимать на кнопку. Собака тянулась к Алисе своим носом. Было каждый раз немножко страшно, когда лифт, начиная движение вниз, как будто падал.

— Тики-тики-тики-тик, — Алиса слушала, как где-то стучит странный механизм.

Алиса рассматривала круглые носки своих новых туфель, которые мама принесла вечером. Мама, надевая вначале одну туфельку, потом вторую, хвалила их и радовалась, а Алиса тоже радовалась, но только не туфлям, а тому, как мама щекотно прикасается своими руками к ее ногам. Впрочем, туфли ей тоже нравились, она словно смотрела на них мамиными глазами.

Собака вывела своего хозяина из лифта. Мама уже нервничала от всех этих секундных промедлений, мужчина все не мог открыть дверь с магнитным замком, а нужно лишь сильнее надавить на кнопку, собака скреблась в нетерпении о стальной косяк, мама закипала и уже собиралась обрушиться на этого вялого, словно заблудившегося в тумане, человека, но дверь открылась. Спрыгивая с одной ступеньки крыльца на другую, Алиса повторяла звук, который продолжал звучать где-то рядом:

— Тики-тики-тики-тик...

Мама торопилась, она шла быстрым шагом, и Алисе приходилось чуть ли не бежать следом. Небо блестело темнотой, но Алиса видела, как почти незаметно в черноту тонкой струйкой, как молоко в чашку маминого кофе, вливается утро. Небо совсем скоро посереет, обступит слабеющие фонари и погасит в один момент все разом.

Идти до садика недалеко, выйти из прямоугольного двора, пройти вдоль проезда мимо многоэтажки, дворник в этот момент выкатывает пластиковые контейнеры, под закрытыми крышками которых набирают силу вонючие и страшные существа. А дворник толкает их к поребрику, словно овец на выпас.

Алиса, не выпуская мамину руку, уже по ней скучала. Мама торопилась, мама думала о чем-то своем, а Алиса хотела разреваться от невыносимого отчаяния, что опять на весь этот бесконечный день она останется одна, и мамы не будет рядом, долго, очень долго. Но она знала, что плакать ни в коем случае нельзя, что мама начнет ругаться, трясти ее за плечи и говорить, чтобы она пришла в себя, она ведь не хочет, чтобы мама опоздала на работу. Алиса не хотела.

На асфальте блестели дождевые черви. Вначале Алиса думала, что это только трещинки, но они медленно ползли по тротуару. Алиса забыла обо всем. Она не понимала: они были противные и беззащитные, она боялась даже на них просто смотреть, но и не смотреть не могла, чтобы на них не наступить.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вадим Шамшурин</i> ПЕРЕОТРАЖЕНИЕ	3
<i>Анна Смерчек</i> ДВАЖДЫ ДВА.....	97
<i>Сергей Прудников</i> ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА.....	229
<i>Александр Клочков</i> ОДНАЖДЫ ВЗЯТЫЙ КУРС.....	309
<i>Анатолий Бузулукский</i> ПАЛЬЧИКОВ.....	417

Литературно-художественное издание

КОВЧЕГ-Питер

Сборник повестей

*В книге сохранены особенности
авторской орфографии и пунктуации*

Редактор Б. Геласимов
Корректор А. Калинин
Компьютерная верстка Е. Климентьева
Художник А. Геласимова

Подписано в печать 12.05.2020. Формат 60×90/16
Печ. л. 36. Гарнитура «Alegreya».
Тираж 1000 экз. Заказ

«Издательский дом „Городец“»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 1
www.gorodets.ru, e-mail: info@gorodets.ru
тел.: +7 (985) 8000 366



ВАДИМ ШАМШУРИН

АННА СМЕРЧЕК

СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ

АЛЕКСАНДР КЛОЧКОВ

АНАТОЛИЙ БУЗУЛУКСКИЙ

В сборник вошли произведения питерских авторов. В их прозе отчетливо чувствуется Санкт-Петербург. Набережные, заключенные в камень, холодные ветры, редкие солнечные дни, но такие, что, оказавшись однажды в Петергофе в погожий день, уже никогда не забудешь. Именно этот уникальный Питер проступает сквозь текст, даже когда речь идет о Литве, в случае с повестью Вадима Шамшурина «Перетражение». С нее и начинается «Ковчег Питер», герои произведений которого учатся, взрослеют, пытаются понять и принять себя и окружающий их мир. И если принятие себя – это только начало, то Пальчиков, герой одноименного произведения Анатолия Бузулукского, уже давно изучив себя вдоль и поперек, пробует принять мир таким, какой он есть.



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРОДЕТС

www.gorodets.ru

ISBN: 978-5-907085-71-8



9 785907 085718

